

ЕРЕДИ множества документов военных лет, хранящихся у меня, среди газет, пропусков, афиш, приглашений есть такие, которые я особенно берегу, и в двадцатилетие Победы они волнуют меня с новой, небывалой силой. Из бытовых документов, какими они были тогда, они превратились сейчас в реликвии, почти в символы.

Вот грубоватый, слегка пожелтевший от времени, размером чуть меньше ладони «Пропуск № 23637 на право прохода и проезда в город Ленинград». По этому пропуску я всю войну беспрепятственно бывала в различных армиях, стоявших возле города или на некотором отдалении от него. По нему я проходила на «Электросилу» — завод считался уже фронтовой зоной. Я подчеркиваю, что пропуск этот дан так же на право прохода. Было время, когда мы ездили на наши ленинградские фронты. А было и такое, когда ездить стало не на чем: трамваи остановились, и мы на фронт ходили. Пропуск-то и выдан в ноябре 1941 года, когда уже замерло городское движение, когда город впадал в ледяное и голодное оцепенение. Я ходила по этому пропуску на мою «Электросилу» всю войну. Я вела там подлитический кружок. И слушателями моими были те немногие товарищи-коммунисты, которые жили на заводе на казарменном положении. Наши занятия были не многолюдными, но горячими и своеобразными митингами: я рассказывала коммунистам то, что узнавала по радио, а значит, больше того, что писалось в газетах. Иногда я читала им свои стихи и стихи других поэтов. Иногда приходилось прерывать занятия для того, чтобы выбежать из помещения и начать тушить «зажигалки».

Да, многое связано у меня с этим пропуском. Но я тороплюсь рассказать и о других документах. Вот еще один. На линованном листе бумаги, вырванном из конторской книги, написанное под диктовку Анны Андреевны Ахматовой, а затем исправленное ее рукой ее выступление по радио — на город и на эфир — в тяжелейшие дни штурма Ленинграда и наступления на Москву.

Как я помню ее около старинных кованых ворот на фоне чугунной ограды Фонтанного дома, бывшего Шереметьевского дворца. С лицом, замкнутым в суровости и гневности, с противогазом через плечо, она несла дежурство, как рядовой боец противовоздушной обороны. Она шила мешки для песка, которыми обкладывали траншеи-убежища в саду того же Фонтанного дома, под кленом, воспетым ею в «Поэме без героя». В то же время она писала стихи, пламенные, лаконичные по-ахматовски четверостишия:

Вражье знамя
Истаёт, как дым.
Правда за нами,
И мы победим!

ЕЩЕ ДВА документа. Первый из них — программа, отпечатанная типографским способом на толстой грубоватой бумаге, очень просто, неяркими, одной только черной краской. На первой страничке ее эпиграф: «Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом, моему родному городу — Ленинграду я посвящаю свою 7-ю симфонию. Д. Шостакович». Пониже крупно: «Седьмая симфония Дмитрия Шостаковича». А в самом низу мелко: «Ленинград, 1942».

Эта программа служила вход-

ным билетом на первое исполнение в Ленинграде Седьмой симфонии в августе 1942 года.

О Седьмой симфонии и об исполнении ее в Ленинграде я уже писала. Но в двадцатилетие Победы, вспоминая и размышляя о подвигах нашего народа в Великой Отечественной войне, я не могу не вернуться к этой истории, становящейся сейчас почти легендой — одной из любимейших и самых горделивых легенд Ленинграда.

В сентябре 1941 года, когда уже на всех стенах города — и на стене радиокомитета в том

1. Организация отрядов.
2. Связь на улицах.
3. Строительство баррикад.
4. Бой с зажигательными бомбами.

5. Оборона дома.
6. Особо подчеркнуть во всех этих передачах-инструкциях, что бой ведется на ближних подступах к городу, что над нами нависла смертельная опасность».

Вот такой была обстановка в те дни, когда Шостакович у себя на Петроградской стороне создавал Седьмую симфонию и в пожарной каске дежурил на крыше. Правда, очень скоро его оттуда

ОТ ИМЕНИ ЛЕНИНГРАДЦЕВ

Ольга БЕРГГОЛЬЦ

числе — было расклеено воззвание Военного совета Ленинградского фронта, Дмитрий Дмитриевич Шостакович выступил у нашего микрофона с коротенькой речью. И хотя она неоднократно цитировалась в различных изданиях, мне хочется сейчас привести выдержки из нее:

— Час тому назад я закончил вторую часть моего нового симфонического произведения. Если это сочинение удастся написать хорошо, удастся закончить третью и четвертую части, то тогда можно будет назвать это сочинение Седьмой симфонией. Работаю я над ней с июля 1941 года.

Для чего я сообщаю об этом? Я сообщаю об этом для того, чтобы радиослушатели, которые сейчас слушают меня, знали, что жизнь нашего города идет нормально. Все мы сейчас несем боевую вахту. И работники культуры так же честно и самоотверженно выполняют свой долг, как и все другие граждане Ленинграда, как и все граждане нашей необъятной Родины.

...Советские музыканты, мои дорогие и многочисленные соратники по оружию, мои друзья!

Помните, что нашему искусству грозит великая опасность. Будем же защищать нашу музыку, будем же честно и самоотверженно работать. Музыка, которая нам так дорога, созданию которой мы отдаем все лучшее, что у нас есть, должна так же неуклонно расти и совершенствоваться, как это было всегда...

До свидания, товарищи! Через некоторое время я закончу свою Седьмую симфонию. Я работаю сейчас быстро и легко. Мысль моя ясна, и творческая энергия неудержимо заставляет меня двигать мое сочинение к окончанию.

Заверяю вас от имени всех ленинградцев, работников культуры и искусства, что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем посту!

Так говорил Шостакович из студии радиокомитета, и мы боялись только одного: как бы не было звуковой накладкой, как бы грохот снарядов и свист бомб не ворвались в его слова о жизни нашего города, «текущей нормально». Ведь он говорил на эфир, то есть на всю страну.

А на листочках, где написана рукой Шостаковича его речь, на обороте редактор передачи подчерком тоже торопливым и поспешным написал:

«План очередных передач на город».

начали просто гнать, а затем ставили эвакуироваться.

Мне выпало счастье быть на исполнении Седьмой симфонии в марте 1942 года в Колонном зале, когда я находилась в Москве в кратковременной командировке.

Не буду здесь подробно рассказывать о том потрясении, которое я, как и все присутствовавшие (больше половины из них было фронтовиков), испытала, слушая эту симфонию, нет, не слушая, а всей душой, всеми, можно сказать, клетками тела переживая ее как гениальное повествование о подвиге родного города, о подвиге всей нашей страны.

Помню, как на сверхъестественные овации зала, вставшего перед симфонией, вышел Шостакович — с лицом подростка, худенький, хрупкий, казалось, ничем не защищенный. А народ, стоя, все рукоплескал и рукоплескал сыну и защитнику Ленинграда. И я глядела на него, мальчика, хрупкого человека в больших очках, который, взволнованный и невероятно смущенный, без малейшей улыбки, неловко кланялся, кивал головой слушателям, и думала: «Этот человек сильнее Гитлера, мы обязательно победим немцев».

Обо всем этом, вернувшись в апреле того же года в Ленинград, я рассказала своим товарищам по радиокомитету и по радио ленинградцам. И вот загорелась у нас мечта исполнить «Ленинградскую симфонию» в Ленинграде. Но как это сделать? Единственный оставшийся тогда в Ленинграде оркестр радиокомитета убавился от голода за время трагической нашей зимы почти наполовину. Никогда не забыть мне, как темным зимним утром тогдашний художественный руководитель радиокомитета Яков Бабушкин диктовал машинистке очередную сводку о состоянии оркестра.

— Первая скрипка умирает, барабан умер по дороге на работу, валторна при смерти... — отчужденным, внутренне отчаянным голосом диктовал он.

И все-таки эти оставшиеся в живых, страшно истощенные музыканты и руководство радиокомитета загорелись идеей во что бы то ни стало исполнить Седьмую в Ленинграде. Яша Бабушкин через городской комитет партии достал нашим музыкантам дополнительную кашу без вырезов (кажется, по тому времени это составляло целых 40 граммов крупы или соевых бобов), но все равно людей было мало для

исполнения Седьмой: могучая партия симфонии требовала сдвоенного состава оркестра. Тогда по Ленинграду был через радио объявлен призыв ко всем музыкантам, находящимся в городе, явиться в радиокомитет для работы в оркестре. И они пришли. Пришел истощавший, опирающийся на палочку Заветновский, концертмейстер, первая скрипка филармонии. Пришел старейший артист Ленинграда семидесятилетний валторнист Нагорнюк. Он играл еще в тех оркестрах, которыми дирижировали Римский-Корсаков, Направник, Глазунов. И все же необходимого состава оркестра не было. Тогда политуправления фронта и Балтийского флота отдали распоряжение прикомандировать к сводному городскому оркестру ленинградских музыкантов из армейских и флотских оркестров.

И вот 9 августа 1942 года после долгого запустения ярко-празднично озарился белоколонный Большой зал филармонии и до отказа наполнился ленинградцами. С фронта, откуда можно было прийти или приехать на трамвае (они вновь стали ходить весной на наших улицах), прибыли офицеры и командиры: с прифронтовых заводов (а у нас в то время почти все заводы были прифронтовыми) пришли рабочие и работницы; пришли архитекторы, уже проектирующие возрождение Ленинграда и новые его здания и улицы; учителя, обучавшие детей в бомбоубежищах; писатели и поэты, не складывавшие пера в самое лютое время недавно минувшей зимы; советский и партийный актив города.

Огромная эстрада филармонии была тесно заполнена. За пультами сидел сводный городской оркестр. Здесь было ядро оркестра — музыканты радиокомитета; здесь были музыканты в армейских гимнастерках и флотских бушлатах, — пестро, необычно для «нормального» оркестра были одеты музыканты. Но дирижер Карл Ильич Элиасберг встал за пульт в самом настоящем фраке, который, правда, висел на нем, как на вешалке, — так похудел он за зиму.

Наступила полная тишина, и началась музыка. И мы с первых тактов узнали в ней себя и весь свой тяжелейший путь. Путь, который не мог не окончиться несомненной грядущей победой. И мы, не плакавшие над погибавшими близкими людьми, сейчас не могли и не хотели сдерживать отрадных, беззвучных, горячих слез. И мы не стыдились их.

И не только в Большом зале было такое, но и во всем городе. И по воинским частям, и по кораблям флота, оберегавшим покой города, в те часы был отдан приказ: пока исполняется Седьмая, тревогу артиллерийскую и воздушную объявлять лишь в самом крайнем случае. У зениток и орудий контрбатарейной стрельбы напряженно ждали артиллеристы и «слухачи». Им не пришлось услышать Седьмую в тот вечер — они слушали воздух, они слушали небо (к счастью, тревога началась уже после исполнения симфонии). А в городе были включены все уличные репродукторы. И граждане толпой стояли перед ними и внимательно, вникали всей душой мужественной победоносной музыке, которая неслась из тех же репродукторов, откуда меньше года назад раздавался негромкий и внутренне взволнованный голос композитора.

— Заверяю вас от имени всех ленинградцев... что мы непобедимы и что мы всегда стоим на своем боевом посту...

ЛЕНИНГРАД